

# Содержание

## Под знаком незаконнорожденных

9

*Владимир Набоков*

Предисловие

13

*Андрей Бабиков*

Адамово яблоко

Первый американский роман Набокова

349

Благодарности / Acknowledgements

383

Комментарии

385

Русский текст в романе

553

## Приложение

### I

В.В. Набоков — Д.Б. Элдери

(22 марта 1944 г.)

555

### II

В.В. Набоков — М.А. Алданову

(8 декабря 1945 г.)

559

### III

А.И. Назаров

Отзыв о романе для радиостанции

«Голос Америки» (1947)

562

### IV

Первая глава романа

по тексту рукописи

567

# 1

Продолговатая лужа вправлена в грубый асфальт; как диковинный след, до краев наполненный ртутью; как лопатообразная выемка, через которую проглядывает нижнее небо. Окруженная, я замечаю, щупальцами рассеянной черной влаги, в которой застряло несколько тусклых серовато-бурых мертвых листьев. Утонувших, мне стоит сказать, еще перед тем, как лужа уменьшилась до своих нынешних размеров.

Она лежит в тени, но содержит образец яркости, находящейся за ее пределами, там, где стоят деревья и два дома. Присмотрись. Да, она отражает часть бледно-голубого неба — мягкий младенческий оттенок голубого, — вкус молока у меня во рту, потому что тридцать пять лет тому назад у меня была кружка такого цвета. Кроме того, в ней отражается короткое сплетенье голых веток и коричневая фистула более толстой ветви, обре-

занной краем лужи, и еще поперечная полоса ярко-кремового цвета. Ты что-то обронил, это принадлежит тебе: кремовый дом по ту сторону, залитый солнцем.

Когда у ноябрьского ветра случается его повторяющийся ледяной спазм, зачаточный водоворот ряби заглушает яркость лужи. Два листка, два трискелиона, похожие на двух дрожащих трехногих купальщиков, бросающихся в воду, стремительностью своего порыва переносятся прямо на середину лужи, где с внезапным замедлением они начинают плыть совершенно ровно. Двадцать минут пятого. Вид из окна госпиталя.

Ноябрьские деревья, тополи, я полагаю, два из которых растут прямо из асфальта: все они озарены холодным ярким солнцем, яркая, богато изрезанная бороздами кора и замысловатый изгиб бесчисленных полированных голых веток, старое золото, — оттого что вверху им достается больше фальшиво-сочного солнца. Их неподвижность контрастирует с судорожной рябью вставного отражения, — оттого что видимая эмоция дерева — это масса его листьев, коих сбереглось, тут и там на одной стороне дерева, едва ли больше тридцати семи или около того. Они лишь слегка мерцают, неопределенного цвета, но отполированы солнцем до той же иконной смуглости, что и замысловатые мириады веток. Обморочная синева неба,

пересеченная бледными неподвижными ключьями  
наслоенных облаков.

Операция не увенчалась успехом, моя жена умрет.

Аспидный фасад дома за низкой изгородью, залитый солнцем, ярким холодом, обрамляют два боковых пилястра кремового цвета и широкий, пустой, бездумный карниз: глазурь на залежавшемся в лавке торте. Днем окна кажутся черными. Их тринадцать; белые решетки, зеленые ставни. Все отчетливо видно, но день продлится недолго. Какое-то движение в одном из окон: нестареющая домохозяйка — открой пошире, как говаривал мой дантист, д-р Уоллисон, во времена молочных зубов — отворяет окно, что-то вытряхивает, теперь можешь прикрыть.

Другой дом (справа, за выступающим гаражом) сейчас совсем золотой. Ветвистые тополи отбрасывают на него алембики восходящих теневых полос промеж собственных раскидистых и изогнутых, до черноты отполированных ветвей. Но все это блекнет, блекнет, она любила, устроившись в поле, рисовать закат, который никогда не остановится, и крестьянский ребенок, очень маленький, тихий и робкий при всей своей мышиной настойчивости, стоял подле ее локтя и смотрел на мольберт, на краски, на ее мокрую акварельную кисть, занесенную над рисунком, как жало змеи, —

но солнце уже исчезло, оставив лишь беспорядочную грудку багрянистых остатков дня, наваленных как попало, — руины, хлам.

Крапчатую поверхность того, другого дома пересекает наружная лестница, а мансардное окно, к которому она ведет, стало таким же ярким, какой была лужа — поскольку теперь она наполнена тусклой жидкой белизной, пересеченной мертвой чернотой, и кажется монохромной копией увиденной перед этим картины.

Я, верно, никогда не забуду тусклую зелень узкой лужайки перед первым домом (к которому крапчатый дом обращен боком). Лужайка одновременно растрепанная и лысоватая, с асфальтовым пробором посередине, и вся усыпана бледно-бурыми листьями. Краски уходят. Последний отсвет горит в окне, к которому все еще ведет лестница дня. Но все уже кончено, и если бы внутри зажгли свет, он бы уничтожил то, что осталось от дня снаружи. Ключья облаков окрашиваются в телесно-розовый цвет, и мириады веточек становятся необыкновенно отчетливыми; и вот внизу больше не осталось красок: дома, лужайка, изгородь, просветы между ними — все приглушилось до рыжевато-серого. О, стекло лужи сделалось ярко-лиловым.

В здании, где я нахожусь, зажгли свет, и вид в окне померк. Снаружи все стало чернильно-черным,

а небо приобрело бледно-синий чернильный цвет — «отливают синим, пишут черным», как сказано на том пузырьке чернил, — но нет, вид из окна так не пишет, и небо тоже, так пишут только деревья триллионом своих ветвей.

## 2

Круг замер в дверях и посмотрел вниз на ее запрокинутое лицо. Шевеление (пульсация, излучение) лицевых черт (сморщенная рябь) вызывалось ее речью, и он понял, что оно длилось уже некоторое время. Возможно, все то время, которое потребовалось, чтобы сойти по больничной лестнице. Своими выцветшими голубыми глазами и длинной морщинистой верхней губой она напоминала кого-то, кого он знал много лет, но сейчас не мог вспомнить — забавно. Побочная линия равнодушного распознавания привела к тому, что он идентифицировал ее как старшую медицинскую сестру. Продолжение ее речи вдруг зазвучало, как если бы игла попала на свою бороздку. На бороздку пластинки его сознания. Сознания, в котором закружились мысли, когда он замер в дверях и взглянул на ее запрокинутое лицо. Теперь на движение черт этого лица наложился звук.

Слово, означающее «биться», она произнесла с северо-западным акцентом: «fakhtung» вместо «fahtung». Человек (мужского пола?), на которого она походила, выглянул из дымки и исчез прежде, чем он смог опознать его — или ее.

«Они все еще бьются, — сказала она, — ...темно и опасно. В городе темно, на улицах опасно. В самом деле, вам лучше переночевать здесь... На больничной кровати — — (gospitalisha kruvka — снова этот говор заболоченных окраин, и он чувствовал себя тяжелым вороном — kruv, — хлопающим крыльями на фоне заката). — Прошу вас! Или хотя бы дождитесь доктора Круга, у него автомобиль».

«Мы не родственники, — сказал он. — Простое совпадение».

«Я знаю, — сказала она, — и все же вам не стоит не стоит не стоит — —» (мир продолжал вращаться, хотя израсходовал весь свой смысл).

«У меня есть пропуск», — сказал он. И, открыв бумажник, зашел так далеко, что дрожащими пальцами развернул упомянутый листок. У него были толстые (дайте-ка подумать), нерасторопные (именно так) пальцы, всегда слегка дрожащие. Когда он что-нибудь разворачивал, внутренняя сторона его щек методично всасывалась и слегка причмокивала. Круг — а это был он — показал ей расплывчатую бумагу. Большой, усталый человек, с сутулостью в плечах.

«Какой от него прок, — проняла она, — вас может ранить шальная пуля».

(Видите ли, добрая душа полагала, что пули все еще flukhtung по ночам, метеоритные остатки давно унявшейся пальбы.)

«Я не интересуюсь политикой, — сказал он. — И мне ведь только реку перейти. Завтра утром придет мой друг и сделает все, что требуется».

Он похлопал ее по локтю и пустился в путь.

С присущим этому акту удовольствием, он уступил мягкому и теплому напору слез. Чувство облегчения длилось недолго, поскольку, едва он позволил им пролиться, они стали жгучими и обильными, мешая ему смотреть и дышать. Он шел в судорожном тумане по мощеному переулку Омибога к набережной. Попытался откашляться, но это привело лишь к новому припадку рыданий. Теперь он жалел, что поддался искушению, потому что уже не мог перестать поддаваться, и содрогавшийся в нем человек буквально утопал в слезах. Как обычно, он разделился на того, кто содрогался, и на того, кто наблюдал: наблюдал с тревогой, с сочувствием, со вздохом или со снисходительным недоумением. Это был последний оплот ненавистного ему дуализма. Корень квадратный из «я» равняется «я». Нотабены, незабудки. Незнакомец, спокойно наблюдающий с абстрактного берега за потоками местного горя. Привычная фигура, пусть даже безымянная и отчужденная. Он увидел, что я плачу, когда мне было десять лет, и отвел меня к зеркалу в нежилой комнате (с пустой клет-

кой для попугая в углу), чтобы я рассмотрел свое расплывающееся лицо. Он слушал меня, подняв брови, когда я говорил вещи, которые не должен был говорить. В каждой маске, которую я примерял, имелись прорези для его глаз. И даже в тот миг, когда меня сотрясала конвульсия, выше всего ценимая мужчиной. Мой спаситель. Мой свидетель. Тут Круг полез за носовым платком, который был тусклым белым комком где-то в глубинах его личной ночи. Выбравшись наконец из лабиринтов карманов, он протер и очистил темное небо и аморфные дома; затем он увидел, что подходит к мосту.

В другие ночи мост был чередой огней с определенным ритмом, метрическим свечением, каждый фут которого пересматривался и продлевался отражениями в черной змеящейся воде. В эту ночь рассеянное сияние было лишь в том месте, где гранитный Нептун высился на своей квадратной скале, каковая продолжалась в виде парапета, каковой, в свою очередь, терялся в тумане. Когда мерно и тяжело ступающий Круг приблизился, ему преградили путь двое солдат-эквилистов. Рядом притаились другие люди, и в луче фонаря, ходом шахматного коня осветившего Круга, он заметил маленького человека, одетого как meshchaniner [мещанин], который стоял со скрещенными руками и страдальческой улыбкой. Солдаты (у обоих, как ни странно, были щербатые лица), насколько внял им Круг, спрашивали

его (Круга) документики. Пока он рылся в поисках пропуска, они велели ему поспешить и упомянули о короткой любовной связи, в которую сами вступили или могли бы вступить, или предлагали ему вступить с его матерью.

«Сомневаюсь, — сказал Круг, продолжая обшаривать карманы, — что эти фантазии, кишачие, как личинки, на древних табу, в самом деле могут воплотиться в действия — причем в силу самых разных причин. Вот он» (он едва не сбежал, пока я говорил с сиротой — то есть с сестрой).

Они схватили пропуск, как если бы он протянул им банкноту в сто крун. Пока они подвергали его всестороннему изучению, Круг высморкался и неспешно положил платок обратно в левый карман пальто, но, подумав, переложил его в правый карман брюк.

«Это еще что?» — спросил тот из двух солдат, который был толще, ногтем большого пальца отмечая на бумаге слово.

Поднеся к глазам очки для чтения, Круг посмотрел вверх его руки.

«Университет, — сказал он. — Место, где преподают разные предметы. Ничего особенно важного».

«Нет, это», — сказал толстый.

«А, “философия”. Ну *вы* знаете. Это когда вы пытаетесь представить себе *mirok* [маленькая розовая картофелина] вне всякой связи с тем, который вы съели или съедите». — Он сделал очками неопределенный жест, после чего сунул

их в укромный лекционный уголок (жилетный кармашек).

«Что у тебя за дело? Почему шатаешься уоста?» — спросил толстый, пока его напарник в свою очередь пытался расшифровать пропуск.

«Всему есть объяснение, — сказал Круг. — Последние дней десять я каждое утро ходил в госпиталь Принцина. По личному делу. Вчера мои друзья вручили мне этот документ, предвидя, что мост в вечернее время станут охранять. Мой дом находится на южной стороне. Сегодня я возвращаюсь намного позже обычного».

«Пациент или доктор?» — спросил худощавый.

«Позвольте мне прочитать вам то, для сообщения чего предназначена эта лаконичная бумага», — сказал Круг, протягивая руку помощи.

«Я буду держать, а ты читай», — сказал худощавый, обратив к нему пропуск вверх ногами.

«Инверсия, — сказал Круг, — мне не помеха, но без очков не обойтись».

Он прошел через знакомый кошмар карманов — пальто — пиджака — штанов — и нашел пустой футляр для очков. Он собирался возобновить поиски.

«Руки вверх!» — с истерической внезапностью приказал толстый солдат.

Круг подчинился, устремив футляр к небесам.

Левая часть луны была так сильно затенена, что практически исчезла в заводи прозрачного, но темного неба, по которому она, казалось, бы-

стро плыла, — иллюзия, вызванная движением к ней нескольких шиншилловых облачков; однако ее правый бок — заметно щербатый, но тщательно припудренный тальком край или щека, — напротив, был ярко освещен казавшимся искусственным светом невидимого солнца. В целом эффект был замечательный.

Солдаты обыскали его. Они нашли пустую фляжку, еще совсем недавно содержавшую пинту бренди. Круг, несмотря на свое крепкое сложение, боялся щекотки. Он тихо покрякивал и слегка извивался, пока они грубо ощупывали его ребра. Что-то выпрыгнуло и упало с щелчком кузнечика. Они нашли очки.

«Отлично, — сказал толстый. — Подними их, старый дурень».

Круг наклонился, пошарил ощупью, шагнул в сторону — и под носком его тяжелого ботинка раздался ужасный хруст.

«Боже мой, вот так положение, — сказал он. — Теперь остается только выбирать между моей физической слепотой и вашей умственной».

«А вот мы арестуем тебя, — сказал толстый. — Это положит конец твоей клоунаде, старый пьянчуга. А когда нам надоест тебя сторожить, мы бросим тебя в реку и будем стрелять, покуда не утонешь».

Тем временем, небрежно жонглируя фонариком, подошел еще один солдат, и Круг снова мельком увидел бледнолицего человечка, стоявшего в стороне с улыбкой на лице.

«Я тоже не прочь поразвлечься», — сказал этот третий солдат.

«Так-так, — сказал Круг. — Не ожидал тебя здесь увидеть. Как поживает твой двоюродный брат, садовник?»

Подошедший, неказистый и румяный деревенский парень, тупо поглядел на Круга и затем указал на толстого:

«Его брат, не мой».

«Да, само собой, — быстро сказал Круг. — О том и речь. Как он поживает, этот доблестный садовник? Вылечил ли он свою левую ногу?»

«Мы давно не виделись, — угрюмо ответил толстый. — Он живет в Бервоке».

«Славный малый, — сказал Круг. — Как же мы все жалели его, когда он свалился в гравийный карьер. Скажите ему, раз уж он существует, что профессор Круг часто вспоминает, как беседовал с ним за кувшином сидра. Всякий может сотворить будущее, но только мудрец способен сотворить прошлое. Яблоки в Бервоке преотличные».

«Вот его пропуск», — сказал угрюмый толстый румяному деревенскому, и тот опасливо взял бумагу, но тут же вернул ее.

«Лучше кликни того ved'mina syna [сына ведьмы]», — сказал он.

И тогда маленького человека вывели вперед. У него, похоже, сложилось впечатление, что Круг по какой-то причине главнее солдат, потому что он немедленно принялся жаловаться ему тонким,

почти бабьим голосом, сообщая, что у него с братом бакалейная лавка на том берегу и что оба чтят Правителя с благословенного семнадцатого числа прошлого месяца. Слава Богу, повстанцы были разбиты, и теперь он мечтал присоединиться к брату, дабы Победивший Народ мог вкушать деликатесы, которыми они торговали, он и его страдающий глухотой брат.

«Кончай болтать, — сказал толстый, — и прочитай это вслух».

Бледный бакалейщик подчинился. Комитет Общественного Благополучия предоставляет профессору Кругу полную свободу передвижения в темное время суток. Для перехода из южной части города в северную. И обратно. Чтец поинтересовался, отчего он не может сопроводить профессора на ту сторону моста? Его мигом вышибли обратно во тьму. Круг продолжил свой путь через черную реку.

Эта интерлюдия отвела поток: он струился теперь, невидимый, за стеной мрака. Круг вспомнил других слабоумных, которых они с ней изучали, — исследование, проводившееся ими с каким-то злорадно-восторженным отвращением. Мужчин, наливавшихся пивом в слякотных барах — мыслительный процесс удовлетворительно заменен визгливой радиомузкой. Убийц. Одногогородцев финансового воротилы, преклоняющихся перед ним. Литературных критиков, хвалящих книги своих друзей или сторонников.

Флоберовских *farceurs*\*. Участников братств и мистических орденов. Людей, которых забавляют дрессированные животные. Членов читательских клубов. Всех тех, кто *существует* потому, что *не* мыслит, опровергая тем самым картезианство. Рачительного сельчанина. Преуспевающего политика. Ее родственников — ее ужасное безыюморное семейство. Внезапно, с яркостью предморфического образа или витражной дамы в красном платье, она проплыла по его сетчатке, обращенная в профиль, несущая что-то — книгу, ребенка, или просто дающая высохнуть вишневному лаку на ногтях, — и стена растворилась, поток снова вырвался наружу. Круг остановился, стараясь взять себя в руки, опустив голую ладонь на парапет — как в прежние времена, в подражание портретам старых мастеров, фотографировали выдающихся людей в сюртуках — рука на книге, на спинке стула, на глобусе, — но едва камера щелкнула, все пришло в движение, поток хлынул, и он продолжил идти — прерывисто, из-за рыданий, сотрясавших его голую душу. Огни противоположной стороны приближались дрожащими концентрическими игольчатыми и радужными кругами и снова сокращались до размытого свечения, если сморгнуть, после чего сразу же безмерно ширились. Он был крупным, грузным мужчиной. Он ощущал интимную связь с черной лаки-

\* Шутники, проказники (*фр.*).

рованной водой, плескавшейся и вздымавшейся под каменными сводами моста.

Вскоре он снова остановился. Давайте потрогаем и осмотрим это. При слабом свете (луны? его слез? тех немногих фонарей, которые умирающие отцы города зажгли из машинального чувства долга?) его рука нащупала в шероховатости определенную структуру — бороздку в камне парапета, выпуклость и выемку с влагой внутри — все это сильно увеличено, как 30 000 кратеров в коре лепной Луны на большом глянцевом снимке, который гордый селенограф показывает своей молодой жене. Сегодня ночью, сразу после того, как они попытались вручить мне ее сумочку, гребень для волос, мундштук, я обнаружил и потрогал это — выбранную комбинацию, детали барельефа. Я никогда раньше не касался именно этой выпуклости и никогда ее больше не найду. Этот момент сознательного контакта таит в себе каплю утешения. Аварийный тормоз времени. Каким бы ни был момент настоящего, я его остановил. Слишком поздно. Мне следовало за время, дайте-ка подумать, двенадцати, двенадцати лет и трех месяцев моей с ней жизни обездвижить этим простым способом миллионы мгновений, платя, возможно, чудовищные штрафы, но останавливая поезд. Скажите, зачем вы это сделали? — мог бы спросить кондуктор с выпученными глазами. Потому что мне нравится этот вид. Потому что я хотел задержать эти несущиеся деревья и петляющую между ними тропу.